

АНДРЕЙ ВОРОНЦОВ

## МАЯКОВСКИЙ И ЕГО ЖЕЛЕЗНЫЕ КНИГИ

ЭССЕ

ЧАСТЬ II

### Подлинная история двухмесячной ссылки

Часто имеет значение не сам факт измены женщины, а то, кому она изменяет. Забавы Лили с чекистами, конечно, раздражали Маяковского, но едва ли только они были причиной “декабрьского кризиса” в его отношениях с Лилей. Да и какой с чекистов спрос, если они были коллегами и О. Брика (что, в общем, не скрывалось), и Л. Брик (что, напротив, выяснилось сравнительно недавно)? А у коллег, да ещё по такому специфическому учреждению, свои отношения — “доверительные”, “товарищеские”, так сказать.

Другое дело, что у Маяковского появился *соперник*, причём соперник серьёзный и, что немаловажно, куда более подходящий на роль “спонсора” Бриков. Может быть, и два месяца-то потребовались Лиле для того, чтобы отчётливей уяснить перспективы и, так сказать, размеры “спонсорства”.

Речь идёт о тогдашней связи Лили с Александром Михайловичем Краснощёковым (он же Абрам Моисеевич Краснощёк, он же Александр Тобинсон, уроженец ныне печально известного Чернобыля). Это был первый “красный банкир”, в прошлом — подпольщик-“искровец”, соратник Ленина и Троцкого и популярный американский адвокат в области трудовых споров и конфликтов (Краснощёк прожил в США 14 лет под фамилией Тобинсон).

На заре НЭПа частные и государственные предприятия нуждались в финансовой поддержке, а государственные кредитные учреждения с этой работой не справлялись. Тогда Краснощёков выдвинул идею о создании акционерного государственно-частного банка для финансирования промышленности. Осенью 1922 года Российский торгово-промышленный банк, или “Промбанк”, начал свою работу. Краснощёков стал председателем его правления, добившись для банка права самостоятельно осуществлять валютные операции. В числе новшеств, предложенных Краснощёковым клиентам “Промбанка”, оказались переводы средств от родственников из-за границы. Подобная услуга существовала в Советской России и до него, но получение денег, точнее, помощи от состоятельных родственников было связано с изрядными мытарствами и трудностями. А Краснощёков договорился с приятелями из американских профсоюзов о создании совместной компании по осуществлению пе-

Окончание. Начало в №7 за 2013 год.

реводов и инвестиций в советскую экономику – “Российско-американской индустриальной корпорации” (РАИК).

Очевидно, именно в эту пору Краснощёков и познакомился с Маяковским и Бриками. В автобиографии Маяковского “Я сам” читаем под 1922-м годом: “Приехали с Дальнего Востока Асеев, Третьяков и другие товарищи по дракам”. Не исключено, что именно дальневосточные “товарищи по дракам”, которым покровительствовал Краснощёков, долго работавший на Дальнем Востоке, и привели его в тогдашнюю квартиру Маяковского в Водопьяном переулке, чем очень польстили тщеславной Лиле: гостей такого ранга там ещё не видели. Да и сам по себе Краснощёков, рослый 42-летний мужчина в самом соку (в окружении Бриков его звали “Второй Большой”), был вовсе не урод. Живые глаза Лили, натурально, заблестели. Советский банкир Краснощёков, сменивший полувоенный френч на гражданский костюм, активно менял и спартанский партийный образ жизни на тот, образцы которого он наблюдал в Америке – не знаю уж, с завистью или социалистической ненавистью. Призывные взгляды Лили не остались незамеченными. Наслышанный о нравах в странной “семье” Бриков и Маяковского, Краснощёков стал в открытую ухаживать за Лилей, заваливая квартиру в Водопьяном переулке цветами, деликатесами и шампанским. За ними последовала дорогая меховая шуба для Лили. Чекисты, надо сказать, шуб ей не дарили. Да и шампанское частенько пивали “на халяву”, за счёт хозяев.

“Черная Лиля”, без всяких сомнений, отдалась Краснощёкову так быстро, как только смогла, и ублажала его, как умела, а умела она больше иной “жрицы любви”, занимаясь энергичным сексом с молодых ногтей. Краснощёков “поплыл”, как некогда “поплыл” Маяковский, бросив лишённую им невинности юную Эльзу Каган (впоследствии Триоле) ради её уже довольно потрепанной старшей сестрички Лили. Но Эльза, познав, по её собственным словам, физические радости любви именно с Маяковским, не могла по неопытности отплатить ему тем же. А вот Лиля, лично не получая от близости с Маяковским большого удовольствия, могла, да ещё как могла!

Маяковский, увидев краснощёковскую шубу, ответил “симметрично” и пошловато, тоже купив Лиле шубу. Но вообще он был Краснощёкову не конкурент. С точки зрения Лилиных перспектив он уступал ему во всех отношениях, если не считать поэзии, занимавшей отнюдь не первое место в системе воззрений “Чёрной Лили” на мир. Да и с поэзией не так всё очевидно. Первым поэтом России считал себя, прежде всего, сам Маяковский да его немногочисленное окружение, а кумиром большинства любителей поэзии являлся в ту пору, без сомнения, Есенин. Что же касается тогдашней большевистской верхушки, то она, не имея ничего против содержания стихов Маяковского, как поэта его не любила. Даже Троцкий невысоко ценил послереволюционные стихи Маяковского, в отличие от послереволюционных стихов Есенина. Ленин же вообще терпеть Маяковского не мог, как не может матёрый экстремист в политике терпеть матёрого экстремиста в другой сфере деятельности. В 1921 году Маяковский послал Ленину книжку “150 000 000” с коллективной надписью от футуристов, в которой фигурирует лишь один русский – сам Маяковский: “Товарищу Владимиру Ильичу с комфутским приветом Владимир Маяковский, Л. Брик, О. М. Брик, Борис Кушнер, Б. Миркин, Д. Штеренберг, Нат. Альтман”. Ну, нерусские “комфутовцы” едва ли Ильича смутили, а вот Л. Брик на втором месте могла привести его в бешенство, если он, конечно, знал, кто это такая. О поэме “150 000 000” Ленин написал: “Вздор, глупо, махровая глупость и претенциозность”. Такого же мнения, по словам Горького, был вождь и о других его стихах, если не считать “Прозаседавшихся”: “Кричит, выдумывает какие-то кривые слова, и всё у него не то, по-моему, – не то и малопонятно. Рассыпано всё, трудно читать”. Так что до смерти Ленина и отстранения Троцкого Маяковскому трудно было стать Первым не только в глазах читателей, но и в глазах властей. Это сейчас нам даже смешно сравнивать знаменитого Маяковского с малоизвестным теперь Краснощёковым. Отнюдь не так было в 1922 году. Представьте, что означал для женщины типа Лили умный, видный соплеменник, соратник Ленина и Троцкого, а ныне руководитель крупнейшего банка, ведущего валютные операции! Какой там Маяковский!?

И вот он, уже не юноша, очутился примерно в том же положении, что и в 1914 году в Одессе:

*Помните? Вы говорили: “Джек Лондон,  
деньги, любовь, страсть”, —  
а я одно видел: вы — Джиоконда,  
которую надо украсть!  
И украли...*

Маяковский, конечно, по советским представлениям, был вовсе не бедным человеком, но, по меркам дореволюционных литературных классиков, вовсе и не богатым. Писателей в пору НЭПа душил налог, взимаемый с них, как с “частных предпринимателей без мотора IV разряда”. К их числу, кстати, относились также священники и диаконы, а деятельность их — что писателей, что священнослужителей, что мелких нэпманов, — называлась “личным промысловым занятием”. Объективности ради надо сказать, что прокоммунистическая направленность “промыслового занятия” таких писателей, как Маяковский, фининспекторами в расчёт не бралась. “Промышляешь” — плати! А как ты промышляешь — твоё личное дело. Маяковский, конечно, будучи типичным поэтом-“многостаночником”, печатался, где только можно, но чем больше получал гонорара, тем больше платил и налога. Именно это стало причиной создания известного стихотворения “Разговор с фининспектором о поэзии”: “В ряду / имеющих / лабазы и уголья / и я обложен, / и должен караться. / Вы требуйте / с меня / пятьсот в полугодие / и двадцать пять / за неподачу деклараций. . .” и т. п. Но “пятьсот в полугодие” — это было в 1926 году, а в предсмертной записке Маяковского 12 апреля 1930 года фигурирует куда бульшая сумма: “В столе у меня 2000 руб. — внесите налог. Остальные получите с ГИЗа”. В общем, государство брало с писателей, может, и не сумасшедшие, но вполне приличные по тем временам деньги. Платить же Маяковский мечтал в сто раз меньше, то есть не по нэпманской “прогрессивной шкале”, а как рабочие и крестьяне: “Гражданин фининспектор, / я выплачу пять, / все / нули / у цифры скрестя! / Я / по праву / требую пядь / в ряду / беднейших / рабочих и крестьян”. “Беднейших”, заметьте! Это означает, что Маяковский отнюдь не демонстративно был раздражён размером налога. Ему, с Лилиными-то аппетитами, явно не хватало его заработка.

Краснощёков же не знал подобных проблем. Когда нужно, он считал свой банк государственным учреждением, а когда нужно — частным. Встречаясь с сотрудниками филиалов и отделений банка, Краснощёков говорил, что “Промбанк” — часть системы Наркомфина, и что они должны вести себя, как государственные служащие. Когда же речь заходила о его собственной зарплате, он “забывал” о том, что для руководителей-коммунистов существует “партмаксимум” зарплаты, выше которого никто из них зарабатывать не может. Краснощёков полагал, что подобное ограничение к нему не относится, ведь он возглавлял акционерный банк, где государство участвовало в капитале на равных правах с другими собственниками.

Одно мешало “Чёрной Лиле” полностью заменить Маяковского Краснощёковым. Как ни крепко держала она Краснощёкова за срамной уд, а в Москве мастериц этого жанра и без неё хватало, причём куда более юных и эффектных. А Краснощёков был вовсе не однолюб и имел, помимо Лили, в столице целый гарем. Терять из-за неё голову, как Маяковский, Краснощёков точно бы не стал и уж тем более не вошёл бы в “семью” в качестве “третьего элемента”. На это был способен только Володя. Потому-то и состоялось 28 февраля 1923 года его возвращение. А на каких условиях, один Бог знает. Во всяком случае, роман Лили с Краснощёковым продолжался.

Но и этот роман, и другие, и вообще образ жизни Краснощёкова требовал гораздо больше денег, чем получал Краснощёков в своём банке в качестве жалованья. Ему приходилось запускать руки в банковские закрома. Вот как это выглядело по данным уголовного дела, возбуждённого в сентябре 1923 года:

“Родной брат А. Краснощёкова Яков явился одним из первых клиентов банка. Операции его сводились к систематическому использованию при помощи брата-директора банковского кредита в разных формах и под разными наименованиями, притом на условиях, наиболее для него благоприятных по сравнению с прочими частными клиентами банка. В то время как с частных клиентов банка за пользование срочными ссудами взималось 4-5 проц., Яков Краснощёков платил всего лишь 1,5-2 процента... Задолженность его банку превышает обеспечение более чем в 80 раз, а банк этим не смущается... По-

лучаемые таким путём из банка деньги Краснощёков пускает в оборот на чёрной бирже и спекулирует вовсю, извлекая огромную выгоду”.

Самого Александра Краснощёкова обвиняли в том, что по его вине задолженность компании (пресловутая РАИК) по переводу денег из Соединённых Штатов в СССР менее чем за год достигла 150 тыс. долларов США – тогда огромная сумма! То есть деньги получателям выплачивались, но из-за океана на счета банка никакой компенсации не поступало. При этом, как уверяли следователи, Краснощёков нарушил порядок, выступая в качестве представителя РАИК, будучи одновременно руководителем банка, с которым РАИК заключила договор (какая знакомая картина!). Кроме того, нашлись следы выплат РАИК Краснощёкову. Правда, не ему самому, а его бывшей жене, жившей с его сыном в Америке. РАИК, как говорили обвинители, производила выплаты и жене Якова Краснощёкова, жившей в Берлине.

Отдельным пунктом обвинения стал подбор кадров “Промбанка”: “Весь основной круг сотрудников банка, начиная с Александра Краснощёкова и кончая низшими служащими, был связан между собой отношениями родства, свойства и дружбы. А. Краснощёков был окружён в банке племянниками, племянницами и “близкими друзьями”.

Речь шла и о содержании в штате “Промбанка” любовниц председателя правления: “Исключительно привилегированное положение занимала в банке фаворитка директора, некая Д. Я. Груз, занимавшая должность заместителя заведующего общим подотделом банка. Гр-ка Груз пользовалась в банке целым рядом привилегий... Являясь совершенно невежественной в банковском деле, гр-ка Груз согласно протокольного постановления “Промбанка” получила право второй подписи от имени банка... В августе 1923 года ей был предоставлен двухмесячный отпуск, причём ей был выдан аванс в размере 450 руб. зол. Когда она уезжала (в Крым), ей были устроены бр. Краснощёковыми торжественные проводы на автомобилях с цветами. За счёт банка ей было куплено отдельное купе в международном вагоне до Севастополя”.

Расписывались следователями и собственные траты Краснощёкова из средств банка: “Заведующий хозяйственным подотделом банка Беркович систематически выдавал А. Краснощёкову заимообразно денежные суммы, отмечал такие выдачи лишь на бумажках или на календаре... За счёт банка покупались для Краснощёкова всевозможные хозяйственные вещи, причём расходы выводились “под каким-нибудь другим предлогом”. Между прочим, хозяйственным отделом был оплачен и ремонт дачи бр. Краснощёковых в Кунцево, а также в августе 1923 года был подыскан секретарём “Промбанка” для А. Краснощёкова соответствующий особняк в Москве, за который была внесена арендная плата в 835 руб. золотом. Занять этот особняк Краснощёкову, однако, уже не пришлось. За счёт авансовых сумм хозяйственного отдела уплачивались также и членские партийные взносы А. Краснощёкова, приобреталось для него платье, бельё, духи, шляпы, оплачивался совнаркомовский паёк и т. д. и т. д. Из хозяйственных же сумм отправлялись деньги дочери Краснощёкова, находившейся с гувернанткой в Крыму. Всё нужное для дачи закупалось в городе за счёт хозяйственного отдела банка”.

В список злоупотреблений входили также кутежи за счёт “Промбанка”, перевод в полное пользование братьев Краснощёковых принадлежащих банку трёх лошадей с колясками и упряжью, а также двух верховых лошадей и много чего ещё. А вот что говорилось о нравах “новых советских”: “В течение короткого времени они вместе с братом получили в магазине Швейсндиката 17 костюмов и 6 пальто, за которые до сих пор не заплачено”.

Роман Краснощёкова с “Чёрной Лилей” активно развивался именно во время “ссылки” Маяковского и продолжался вплоть до сентября 1923 года. История умалчивает, приложил ли руку к разоблачению Краснощёкова имевший на него огромный зуб Маяковский. Во всяком случае, его связи с чекистами позволяли ему это. Зато известно точно, какую роль в падении Краснощёкова сыграл его бывший соратник по работе на Дальнем Востоке латыш Генрих Христофорович Эйхе. Он, видимо, после увольнения из армии в 1923 году остался без работы, и Краснощёков на свою голову “пригрел” его. Но “пригрел” довольно обидно для самолюбия Г. Эйхе: бывший главком Народно-революционной армии Дальневосточной республики, потом командующий войсками в Белоруссии и в Ферганской области оказался в “Промбанке”... начальником подотдела снабжения хозяйственного отдела (должность какая-то “шариков-

ская»). Поэтому, очевидно, Г. Эйхе “сдал” Краснощёковых без особых переживаний. В частности, он сообщил, что значительное количество продуктов и вин, отправляемых на дачу в Кунцево, списывалось на столовую банка. Покупка цветов для Лили и других любовниц Краснощёкова проводилась по графе “Вывоз мусора”, особую заграничную клизму, купленную для председателя правления, оформили как инструмент для конюшни, постельные принадлежности в огромном количестве купили для Краснощёковых и списали на общежитие банка.

Особенно убийственно звучало упоминание об этой “особой заграничной клизме” для бывшего партийного вождя Дальнего Востока... Воистину, “так проходит земная слава”... Эйхе рассказал также о найме жилья для любовниц Краснощёкова и многом другом. О тратах на “Чёрную Лилию”, наверное, тоже, но эта информация гласности не предавались, что косвенно может свидетельствовать о кое-какой причастности Маяковского к разоблачению Краснощёкова. Вся Москва шумела о романе председателя правления “Промбанка” с Лилей Брик, а о ней в материалах суда — ни слова. Отчего имя гражданки Д. Я. Груз было обнародовано, а более известной гражданки Л. Ю. Брик — нет? Либо оттого, что Маяковский, дав необходимые сведения о Краснощёкове, поставил условием неразглашение её имени, либо Лилию “прикрыли” коллеги-чекисты.

Но всё же главную роль в тотальной проверке “Промбанка” сыграли старые дальневосточные недруги Краснощёкова — братья Губельманы, Моисей и Миней. Миней, больше известный под псевдонимом Емельян Ярославский, в 1923 году вошёл в состав президиума высшего контрольного органа партии — Центральной контрольной комиссии (ЦКК) — и высшего партийного суда — Партколлегии. “И, как утверждали знатоки, именно по его инициативе в Промбанк пришла проверка из ЦКК”, — пишет в журнале “Коммерсантъ-Деньги” (2012, 20.02, № 7) Е. Жирнов.

ЦКК передала данные ревизии в ГПУ, и 19 сентября 1923 года А. Краснощёкова арестовали. Это была одна из самых громких сенсаций того времени. Симпатизировавший Абраму Моисеевичу Ленин к тому времени перенёс второй, ещё более страшный удар, и защитить Краснощёкова уже не мог. 28 октября 1923 года прошло чрезвычайное собрание акционеров “Промбанка”. Они условились, что увеличат его капитал с 15 млн до 25 млн золотых рублей. Это означало, что акционерам пришлось экстренно внести 10 млн золотых рублей в уставный капитал “Промбанка”, чтобы спасти его от краха после ареста председателя правления. В последующем именно эта цифра — 10 000 000 рублей золотом — называлась в качестве ущерба от злоупотреблений Краснощёковых, хотя напрямую они такой суммы не похищали.

Особый резонанс делу “Промбанка” придавало неназываемое, но очевидное обстоятельство, что все обвиняемые были евреями. 9 марта 1924 года суд приговорил А. Краснощёкова к 6 годам одиночного заключения, Я. Краснощёкова — к 3 годам, Берковича — к 2 годам, Виленского — к 1,5 годам, Соловейчика — к 1 году.

### **Краснощёков и Маяковский**

Итак, сама судьба разрешила спор между Маяковским и Краснощёковым за обладание “Чёрной Лилей” в пользу Маяковского (правда, отнюдь не сразу, о чём ниже). Но наш рассказ об этом, вольно или невольно окрашенный в иронические тона, будет необъективным, если мы не добавим, что за тюремной решёткой оказался не просто проворовавшийся “красный банкир”, а человек в своём роде не менее талантливый, чем Маяковский, подававший большие надежды как советский государственный деятель. Не исключено, что именно он явился прототипом Левинсона из фадеевского “Разгрома”, поскольку был одним из главных организаторов и председателем Правительства т. н. Дальневосточной республики (ДВР). Это государственное образование, история которого малоизвестна (и документы по которому до сих пор не рассекречены), возникло после разгрома Колчака в апреле 1920 года как следствие закулисных переговоров большевиков с Японией, США, Англией и Францией. Дело в том, что на русском Дальнем Востоке, помимо семёновцев и остатков разбитой колчаковской армии, находились оккупационные

японские, американские, французские, английские, китайские, итальянские войска, а также чехословацкие легионеры под эгидой Антанты, пышно именовавшие себя то “Чехословацкой Сибирской армией”, то “Чехословацким войском на Руси”. Большевикам, надвигавшимся на Читу, предстояло либо вступить с ними в боевое соприкосновение, либо как-то договариваться. Посредниками выступили местные эсеры и меньшевики, участвовавшие в борьбе против Колчака на стороне большевиков. Они выдвинули идею создания между Прибайкальем и Тихим океаном буферного с Японией демократического государства, в выборных органах которого были бы представлены все антиколчаковские партии.

Большевики подумали и согласились, с тем условием, однако, что “управлять процессом” будут они. Среди тех, на кого Москва возложила эту задачу, был, в частности, участник переговоров с эсерами и меньшевиками, член Дальневосточного бюро ЦК РКП(б) Александр Краснощёков, прибывший в 1917 году на Дальний Восток из США.

Мы не знаем всех подробностей развернувшейся тогда с подачи Краснощёкова в краевых дальневосточных правительствах дискуссии о ДВР, но о её направлении мы можем судить по тому, как изменялся герб Дальневосточной (или Дальне-Восточной, как тогда писали) республики. На почтовой марке ДВР, выпущенной в 1920 году во Владивостоке, мы видим герб Временного правительства России – двуглавого орла без корон, скипетра и державы. Точно такой же сейчас на российских металлических рублях (наследие Бурбулиса!). Единогласия у ДВР в 1920 году не было: в Верхнеудинске и Благовещенске вывешивали красный, а в Чите и Владивостоке – традиционный российский триколор. Официально утверждённый в ноябре 1921 года флаг республики стал красным, но, в отличие от флага РСФСР, где в левом верхнем углу красовались серп и молот, на этом месте на флаге ДВР был синий прямоугольник с буквами “Д. В. Р.”. Тогда же поменялся и герб республики: теперь он представлял собой комбинацию из снопа пшеницы, морского якоря и шахтёрского кайла в венке из сосновых ветвей. Очевидно, в 1920 году коммунисты были готовы сквозь пальцы смотреть на “общипанную птицу Керенского” с целью привлечения в ДВР Забайкалья и Приморья. Ну, а после взятия 25 октября 1920 года очищенной японцами Читы и особенно после белого переворота во Владивостоке в мае 1921 года необходимость в этом отпала.

Негласная договорённость о “демократическом характере” ДВР предполагала и “демократические выборы”, и вот здесь Краснощёкову удалось то, чего не удалось большевикам в ноябре 1917 года на выборах во Всероссийское Учредительное собрание. Хотя выборы в Учредительное собрание ДВР в январе 1921 года коммунисты тоже проиграли (причём с абсолютно с тем же результатом, что и в 1917 году во всероссийском масштабе – 24,1% голосов), получив по своему партийному списку 92 мандата, но теперь у них, в отличие от “Учредилки” образца 1917–1918 годов, были многочисленные союзники. Краснощёков смело можно считать автором идеи “блока коммунистов и беспартийных”. Большевики переманили на свою сторону т. н. “крестьянскую фракцию большинства” (47,9% голосов, 183 мандата), состоявшую в основном из партизан – участников антиколчаковского движения. Эта фракция, по словам одного из руководителей ДВР Н. М. Матвеева, “поддерживала целиком фракцию коммунистов”\*. Крестьянская же фракция меньшинства, состоявшая, согласно тому же Матвееву, “на подбор из кулаков”\*\*, получила всего 11,5% голосов и 44 мандата. Эсеры, соответственно, имели 4,6% и 18, меньшевики – 3,6% и 14, бурято-монгольская фракция – 3,4% и 13, кадеты – 2,1% и 8 (стало быть, и “колчаковскую” партию допустили на выборы!), сибирские эсеры – 1,5% и 6, народные социалисты – 0,8% и 3, внепартийные – 0,2% и 1. В голосовании, прошедшем на всей территории ДВР, включая Приморье и Северный Сахалин, участвовало 50% всех избирателей, что в условиях гражданской войны являлось довольно внушительной цифрой. Отметим, что в Европейской России на подобные масштабные и рискованные выборы не отважились не только коммунисты, но и белые краевые правительства – даже самые “демократические” из них. Недаром белый генерал В. Г. Болдырев назвал результаты, достигнутые Краснощёковым, “блестящими”. Фальсификации на выборах, конечно, были – да и какие

\* БСЭ, 1-е изд., 1930. Т. 20-й. С. 219.

\*\* Там же.

выборы без них? Например, по одному из дошедших свидетельств, бойцам Народно-революционной армии ДВР и партизанам некоторые избиркомы вручали для голосования лишь один бюллетень — № 4, т. е. большевистский (в ту пору для каждого избирательного списка существовал отдельный бюллетень). Однако судя по тому, что коммунисты, как и по всей России в 1917 году, набрали те же 24%, нарушения едва ли были масштабными.

Большевики во главе с Краснощёковым победили не с помощью фальсификаций, а чисто политическими методами: не рассчитывая (и весьма осмотрительно) на свою победу, создали независимый от эсеров крестьянский избирательный список и с помощью демагогии подчинили его своему влиянию. Полагаю, что если бы большевики и в 1917 году сделали то же самое, что и Краснощёков, — т. е. не отдали бы крестьянские голоса на откуп эсерам, они бы и во Всероссийском Учредительном собрании получили коалиционное большинство. А это, между прочим, означало бы, что гражданской войны можно было избежать.

Таким образом, в Учредительном собрании ДВР блок коммунистов и крестьянского большинства абсолютно доминировал, имея почти три четверти всех голосов. Тем не менее, заседания Собрания, проходившие в Чите с 12 февраля по 26 апреля 1921 года, были очень бурными и нередко переходили в драку. Видимо, всё же полностью контролировать вольную “партизанскую фракцию” коммунистам было не так просто, ибо ни одного решения в ленинском духе, которое хоть как-то бы ущемляло дальневосточных крестьян, Учредительное собрание ДВР не приняло. Более того, оно не приняло подобных решений и в отношении мелкой, средней и даже крупной русской буржуазии, за исключением тех её представителей, что активно сотрудничали с Колчаком и атаманом Семёновым. Впрочем, самый богатый человек Приморья — Борис Бринер, отец знаменитого голливудского актера Юла Бриннера, — прекрасно уживавшийся с колчаковцами, не только не потерял свой бизнес после большевистского переворота во Владивостоке 31 января 1920 года, но ещё и стал в ДВР министром торговли и промышленности краевого Приморского правительства! Ну, а условия для иностранного бизнеса в ДВР были примерно такими же, какие мы видим в известном фильме “Начальник Чукотки”. То есть — пожалуйста, торгуйте, берите концессии, только исправно вносите в казну “доллары” в виде пошлины и налогов.

Правда, в первое Правительство ДВР из 7 человек вошёл лишь один представитель крестьянского большинства — Ф. Иванов, а все остальные были коммунистами. Видимо, хитроумный Краснощёков объяснил партизанам, что в Правительстве должны заседать образованные люди, а поскольку крестьяне высшего образования не имеют, а многие не имеют и среднего, и даже начального, то право представлять интересы землепашцев во власти лучше передать большевикам. Председателем Правительства был избран сам Краснощёков (позже он стал ещё и министром иностранных дел). Уточним, что Правительство в ДВР являлось не исполнительной, а законодательной властью (т. е. выполняло роль постоянно действующего президиума Народного собрания), а правительством в привычном нам понимании был Совет министров, прямо подчинявшийся Правительству ДВР. В отличие от Правительства, где почти полностью доминировали коммунисты, Совмин ДВР формировался на коалиционных началах: в него входило 9 большевиков, 3 меньшевика, 3 эсера и 1 народный социалист. Главой Совета министров стал коммунист П. М. Никифоров.

ДВР задумывалась в Москве как государство переходного периода, но даже такое государство должно было иметь внутреннюю идеологию, и она принципиально отличалась от идеологии РСФСР. Там, в сущности, речь шла о насильственном подчинении одной группе населения всех других, а здесь, по свидетельству премьера ДВР П. Никифорова, главным лозунгом было создание единого *национального фронта* с целью окончательного освобождения от интервентов. Но история показывает, что национальное единство нужно государству не только для решения какой-то одной проблемы — оно необходимо вообще. Сегодня мы ещё только нащупываем тот путь, которым ДВР изначально двинулась в 1920 году. Если зашатается Путин, где будет наш “национальный фронт”? А вот в апреле 1920 года, когда японцы попытались свергнуть власть буржуазно-демократического Временного правительства Приморья, подконтрольного Дальбюро ЦК РКП(б), они не нашли во Владивостоке *никого*, кто бы мог войти в новое маррионеточное правительство, включая авторитетных бывших белогвардейцев.

Правильность лозунга национального фронта, а также политики большевиков-краснощёвцев в отношении русских крестьян и мелкой буржуазии на Дальнем Востоке подтвердили следующие выборы, состоявшиеся в июле 1922 года. Коммунисты на них твёрдо взяли 50% голосов. (Между прочим, это самый высокий показатель, достигнутый у нас компартией на свободных парламентских выборах с 1917 года и по наши дни). Правда, в захваченном белыми Приморье выборы на этот раз не проводились, а там за несоциалистические партии голосовало до 25% избирателей. В итоге большевики вместе с «сочувствующими» получили в Народном собрании 85 мандатов из 124, т. е. 70%. Эсеры имели 18 голосов, крестьянская фракция меньшинства – 12, меньшевики – 3, прочие – 6.

Но самого Краснощёкова к тому времени в ДВР уже несколько месяцев не было. Дело в том, что политика его не нравилась московскому и дальневосточному партийному руководству, особенно, как мы упоминали выше, двум соплеменникам Краснощёкова – братьям Губельманам. В чём причина этого недовольства, на первый взгляд, понять сложно. В Советской России уже вовсю разворачивался НЭП, очень похожий на то, что изначально происходило в ДВР. Поэтому отзываться «рыночника» Краснощёкова, казалось бы, не имело никакого смысла. Но это только так казалось. НЭП был близок краснощёковской политике экономически, но отнюдь не политически. В ДВР формально не было монополии большевиков на власть, в Народное собрание и Совмин входили оппозиционеры, действовали на законном основании политические партии, запрещённые в РСФСР, выходили их газеты, существовала практически неограниченная свобода торговли, частная собственность (исключая землю и недра, но они сдавались в аренду) и частные банки. В краевом приморском Временном правительстве, контролируемом большевиками, 6 ключевых портфельей имели министры-капиталисты, а бывшие колчаковские офицеры, начиная с генерала Болдырева, служили в местном военном ведомстве, по-прежнему не снимая погон. Смертная казнь в ДВР была отменена. Советов как формы власти не существовало, причём здесь без них прекрасно обходились, что раздражало очень многих в коммунистическом руководстве. К тому же, видимо, Краснощёкову понравилось быть «президентом» даже условно независимой страны, и он не торопился «постепенно сворачивать буфер», как того требовали из Москвы. А ещё Краснощёков считал, что буржуазно-демократический строй ДВР не должен носить временного или тактического характера. Весьма вероятно, что в этом смысле он видел ДВР примером для преобразований в РСФСР.

А по большому счёту, политика Краснощёкова в ДВР (хотя он сам ни о чём подобном и не помышлял) явилась зримым доказательством, что антикрестьянская политика Ленина и Троцкого на остальной территории России носила сознательный экстремистский характер, без учёта имевших реальных альтернатив. Такого же мнения придерживается историк К. Ю. Чепикова, автор работы «Дальневосточная республика»: «ДВР можно рассматривать как демократическую альтернативу развитию всей страны».

Русское крестьянство трудно однозначно назвать врагом Октябрьской революции, как это делают многие современные историки. В гражданскую войну крестьяне чаще выступали всё-таки против белых, несмотря на суровую большевистскую продразвёрстку. Но надо помнить, что продразвёрстка не лишала крестьян ни земельного надела, как во время коллективизации, ни крупного скота, ни «воли» – возможности участия десятков миллионов русских крестьян в революции отмечал в своих последних исторических работах В. В. Кожинов. И, казалось бы, большевикам весьма выгодно было использовать эту особенность для своей политической легитимации, как успешно это проделал Краснощёков в ДВР, создав парламентский «союз пролетариата и крестьянства», позволивший коммунистам на вполне демократических основаниях надёжно контролировать власть. Однако нерусская ленинская и троцкистская «гвардия», видимо, принципиально не нуждалась в политическом «мандате доверия» от русского крестьянского большинства, находя его «черносотенным». Учредительное собрание ДВР выбирали в основном голосами русских крестьян путём свободных, прямых, тайных и равных выборов, причём право голоса имели даже бывшие белогвардейцы и буржуазия. А в Советской России тогда не существовало ни свободных, ни прямых, ни тайных, ни равных выборов, – напротив, абсолютное большинство населения, то есть крестьянство, было по-



ставлено в дискриминационные условия, когда, согласно Конституции РСФСР 1918 года, голос пяти крестьян приравнивался к голосу одного рабочего (эта норма перекочевала и в Конституцию СССР 1924 года).

А “военный коммунизм”, которого на Дальнем Востоке не существовало ни до, ни после апреля 1920 года? Гражданская война продлилась там на два года дольше, чем в европейской части страны, власть менялась, как в калейдоскопе, однако ничего похожего на голод и товарный дефицит, существовавший в РСФСР, там не было. Это, подтверждает, в частности, и роман А. Фадеева “Последний из удэге”.

Крестьянская кооперация, разрушенная “военным коммунизмом” в европейской России (например, из романа Шолохова “Тихий Дон” мы узнаём, что в начале 1921 года в кооперативных лавках ЕПО\* на Верхнем Дону было хоть шаром покати), действовала на Дальнем Востоке безотказно с 1917-го по 1922 год! А то, может быть, кому-то покажется, что Краснощёкову какой-то глупой таёжный угол на “княжение” достался! Нет, ему достался один из самых лакомых кусков тогдашней России плюс Китайская Восточная железная дорога (КВЖД) с “полосой отчуждения”, идущая из Читы во Владивосток через Маньчжурию.

Но если бы Краснощёков в апреле 1920 года ввёл в ДВР продразверстку, сельхозкоммуны, запрет на свободную торговлю и прочие прелести антикрестьянской, русофобской политики под названием “военный коммунизм”, то можно не сомневаться, что на Дальнем Востоке быстро бы начался такой же жестокий голод, как и в РСФСР. И массовые восстания бывших красных партизан тоже, как в соседней с ДВР Западной Сибири (февраль-апрель 1921 года), где была установлена советская власть с продразвёрткой и реквизициями. О гиперинфляции, острейшем товарном дефиците, крайнем обнищании людей я уже не говорю. А так – в ДВР уже летом 1921 года был введён рубль на основе *золотого стандарта*. “В августе 1921 г<ода> всем, в том числе и министрам, была выдана зарплата по 5 рублей золотом” (К. Ю. Чепикова). Может быть, это и немного, но в пересчёте на обесцененные советские дензнаки золотые рубли исчислялись бы миллиардами. По данным бывшего премьера ДВР Никифорова, к осени средняя зарплата в республике увеличилась до 8 золотых рублей, а к весне 1922 года – до 12. И это происходило в то время, когда на востоке ДВР снова запыхала гражданская война в связи с наступлением меркуловцев на Хабаровск!

Правда, мало кто – и в России, и в мире – сомневался, что ДВР прекратит своё существование после того, как красными будет “с боем взято Приморье, // Белой армии оплот”. Но никто, кроме, естественно, большевиков, не ожидал, что это случится так быстро, без всякого переходного периода. Ведь никогда прежде независимость ДВР не ставилась в прямую зависимость (во всяком случае, официально) от того факта, что на части её территории – в Приморье – хозяйничали белые и японцы. И вот стоило 25 октября 1922 года пасть белому Владивостоку, как уже 13 ноября в Чите открылась сессия Народного собрания ДВР. Две трети всех мандатов, имевшихся у “блока коммунистов и беспартийных”, predeterminedили результат голосования о судьбе ДВР. На следующий день Народное собрание приняло решение о ликвидации Дальневосточной республики. Причём она не сохранялась не только как независимое государство, но и как автономная республика в составе РСФСР. Видимо, ДВР ни в коем случае не должна была больше являться политическим примером для остальной России. Один из пунктов последнего постановления Народного собрания звучал особенно мрачно: “демократическую конституцию ДВР и её законы объявить отменёнными”...

Возвращаясь к Краснощёкову, уверенно можно сказать, что в дальневосточный период своей деятельности он был самым незаурядным и наименее кровавым политиком среди “еврейского сегмента” РКП(б). И если он являлся прототипом фадеевского Левинсона, то был им по праву.

Однако когда бывшие руководители ДВР остались не у дел, их ждали в Советской России несоразмерно маленькие назначения. Краснощёков стал вторым заместителем наркома финансов РСФСР, П. М. Никифоров – послом в Монголии, Г. Х. Эйхе, первый руководитель НРА, – сотрудником “Промбанка”, талантливый забайкальский казак Н. М. Матвеев, преемник Краснощёко-

\* ЕПО – Единое потребительское общество.

ва, — простым хозяйственником. С ними обошлись так, словно они были обыкновенными выдвигенцами из губерний или даже уездов. А они, между тем, два с половиной года успешно управляли формально независимым государством с огромной территорией 2 987 600 кв. км (это шесть нынешних Испаний или пять Франций!) и населением около 2 190 000 человек (то есть в громадной ДВР на километр и по человеку не приходилось!). Причём управляли в условиях гражданской войны и интервенции. НЭП в Советской России во многом делался по лекалам ДВР, где он начался на год раньше. Например, после введения в ДВР золотого рубля там два месяца гостила высокопоставленная делегация Наркомфина РСФСР, внимательно “изучая передовой опыт”. Система “торгсинов”, когда в специальных магазинах стали принимать золото вместо обесцененных дензнаков, тоже впервые была применена в ДВР. Именно Краснощёкову и его сотрудникам пришла в голову мысль, что небедное сибирское население, категорически не доверявшее дензнакам времён гражданской войны, должно было копиться золото, которое, если получить его в обмен на дефицитные товары, поможет создать золотой рубль ДВР. А когда в Советской России переименовывали ВЧК в Государственное политическое управление (ГПУ), то за образец взяли название существовавшей уже полтора года спецслужбы ДВР Государственная политическая охрана (ГПО).

Ленин, впрочем, помня Краснощёкова ещё по “Искре” и высоко оценивая результаты его работы в ДВР (“показал себя умным председателем правительства в ДВР, где едва ли не он же всё и организовывал”), готовил его для более высокого поста, чем второй заместитель наркома финансов. Из нескольких писем Ленина в январе 1922 года следует, что он хотел бы передать Краснощёкову дело восстановления рубля и “свободного обращения золота”, памятуя, вероятно, об успехе денежной реформы в ДВР. Существовала даже директива Политбюро о создании в Наркомфине специальной “тройки” (Сокольников, Преображенский, Краснощёков) для “восстановления рубля на базе торговли”. (Тут надо учитывать, что Краснощёков, по словам Ленина, “стоял за большую “свободу торговли””. “Двигайте Краснощёкова: он, кажись, практик”, — писал Ленин членам Политбюро 22 января 1922 года. Поскольку леваки-троцкисты Сокольников и Преображенский в золото-валютных делах мало что смыслили, то главную роль в “тройке” стал бы, конечно, играть практик Краснощёков. А в случае успеха реформы он, без сомнения, пошёл бы на повышение, отодвинув, возможно, и Сокольников, и Преображенского. Именно поэтому произошёл, по словам Ленина, “скандал”: “Сейчас узнал — к ужасу своему — от Сокольников, что он отрицает (!) директиву Политбюро о тройке (он + Преображенский + Краснощёков)... Значит, аппарат Цека не действует!” (25. I. 1922). А ещё раньше, 4 января, Ленин писал членам Политбюро: “Т. Преображенский говорил мне по телефону, что он уйдёт, если Краснощёков будет назначен вторым заместителем, таково же мнение всей коллегии, кроме, кажется, Сокольникова”. “Старая гвардия” всеми силами сопротивлялась появлению и возвышению Краснощёкова, даром, что тот был еврей, как и многие из них. Например, нет сведений, что американский приятель Краснощёкова Троцкий поддерживал его — наверное, тоже видел в нём способного конкурента. Когда же Краснощёков имел несчастье подцепить тиф и слёг, соплеменники быстренько уволили его из Наркомфина. Даже негуманист Ленин удивлялся такой негуманности в письме членам Политбюро от 30 марта 1922 года: “Всё возможное и невозможное сделано нами, чтобы оттолкнуть очень энергичного, умного и ценного работника”. Однако даже Ленин отстоять Краснощёкова на прежней должности второго зама наркома финансов не мог. Не мог он и устроить его на какую-нибудь должность в наркомат иностранных дел, как просил Краснощёков. Воспротивился Чичерин, помнивший о его независимой позиции относительно внешней политики ДВР. Ленин смог сделать Краснощёкова лишь членом президиума Высшего совета народного хозяйства. Однако и в ВСНХ у него карьера не заладилась, что, очевидно, в немалой степени было связано с тем, что 22 мая 1922 года Ленина, его единственного защитника, хватил первый удар, и он надолго выбыл из строя.

И тогда, очевидно, в голову Краснощёкова пришла облегчающая еврейская мысль: “А мне оно надо? Разве я не могу найти себе полезное во всех отношениях занятие?” Остап Бендер, не сумев стать ни советским, ни бразильским миллионером, решил переквалифицироваться в управдомы, а Краснощёков, напротив, не сумев стать советским управленцем, решил переквалифициро-

ваться в советские миллионеры. Высокопоставленные недруги бывшего президента ДВР решили дать ему “Промбанк” в качестве отступного за уход из власти и политики.

До нас не дошли сведения, использовал ли Краснощёков служебное положение в личных целях, будучи председателем Правительства ДВР. Весьма может быть, что нет, поскольку в Народном собрании, Совмине и контрольных органах республики сидела придирчивая оппозиция и внимательно наблюдала за представителями правящего большинства. В “Промбанке” же Краснощёков правил безраздельно и бесконтрольно (точнее, он так ошибочно полагал).

Принято жалеть Маяковского, когда заходит разговор о многочисленных любовниках Лили Брик, но вот по поводу Краснощёкова я бы не стал за него особенно переживать. Пусть именно Лиля была одной из тех дам, что довели Краснощёкова “до цугундера”, но всё-таки он и Лиля больше подходили друг другу, чем Лиля и Маяковский. Те сведения о Л. Брик, которые мы имеем, позволяют сделать вывод, что если она и мечтала в юности о пресловутом принце, то это был не “чудак печальный и опасный” вроде Маяковского, а достигший больших высот соплеменник вроде Краснощёкова. Лучшей пары для “ослепительной царицы Сиона евреева”, чем импозантный и нестарый ещё президент-еврей (пусть и отставной), было не найти. Надо думать, что после своих Америк Краснощёков и кавалером был более приличным, чем Маяковский (о финансовых возможностях обоих мы уже говорили). Абрам Моисеевич был рядом с Лили́ Уриевой *на своём месте*, а вот Владимир Владимирович – не на своём. Что же касается прочих качеств Краснощёкова...

Двух знаменитых любовников “Чёрной Лили” и её официального мужа объединяло только то, что все трое были политиками, хотя и совершенно разных масштабов. Я имею в виду не только участие Маяковского и Брика в деятельности ЛЕФа. Краснощёков, скажем, был уже президентом, а вот Маяковский (о чем мало кто знает) мечтал им стать. Об этом они говорили с Асеевым после Февральской революции, и об этом Маяковский писал в неопубликованных строках поэмы “V Интернационал”, созданной в духе полемики с обидным отзывом Ленина о “150 000 000”. Там герой, которым является сам Маяковский, приходит занимать место “окаменевшего” Ильича в Кремле и утверждает, что теперь он – “пред. Совнаркома”. Вот тебе и “двое в комнате – я и Ленин”!

Какой видел свою миссию в России президент ДВР Краснощёков? В письме жене Гертруде с Дальнего Востока в США он писал: “Я продолжаю своё дело, стараясь решить мирным путём, но твёрдой рукой наши трудные проблемы освобождения и перестройки Дальнего Востока на новых основах, построить мир, где благоразумие, практичность, свойственные американскому строителю и исполнителю, должны объединиться и подчиниться идейности, человечности, эмоциональности, но непрактичности русских, и создать новую жизнь, новый мир”. Таким образом, еврей Краснощёков полагал, что привезённые им из Америки благоразумие и практичность не просто должны объединиться с русской идейностью, человечностью, эмоциональностью и даже непрактичностью, но и *подчиниться* им. Увы, в устах русского Маяковского такие слова непредставимы – после революции он писал о русских и русском одну брань, а похвалы от него доставались только новой формации людей – советской. Сопратниками Краснощёкова в ДВР были в основном русские люди, а Маяковского в ЛЕФе – в основном евреи. Да, и так бывает...

Даже в свете того, что мы узнали о Краснощёкове как руководителе “Промбанка”, я, признаться, симпатизирую ему как политику и личности больше, чем Маяковскому, а тем более – Брику. Краснощёков был последовательным и по-своему честным человеком: нравилась ему буржуазная демократия под контролем коммунистов – и он её проводил как своё “ноу-хау” в жизнь в ДВР и агитировал за госкапитализм в Москве. Нравилась (за неимением лучшего) жизнь “красного банкира” – и он открыто вёл её. А двуличные Брики эти, с доносительским азартом выискивавшие малейшие “буржуазные уклоны” у русских писателей-“попутчиков”, сами, когда выезжали за границу, распускали слюни восторга по поводу тамошних капиталистических порядков. Например, в дневнике “Чёрной Лили” читаем в начале 1930 года, что Советская Россия отстала от Запада не на 13, а на 300 лет. Ну, конечно: в Польше лакеи и носильщики кланяются, на станциях свободно продаются ослепительно белые булочки и т. п.! Отчего же вы, пользуясь всеми благами такой жизни в царской России, боролись против неё, начиная с 1905 года, как об этом пи-

шет в воспоминаниях та же Л. Брик? Только потому, что это была *не ваша, а русская жизнь?*

Если же говорить о “горлане-главаре” Маяковском, то мне не доводилось читать, чтобы он, выезжая за границу, выступал там перед любимым своим пролетариатом, на сходках коммунистов, на митинге “Рот Фронта”, на традиционном празднике газеты “Юманите” и тому подобное. Нет, он выступал за деньги, причём в основном перед русской эмигрантской публикой, соскучившейся по гостям с родины, и американскими евреями, выходцами из России. Оно и понятно: на советские рубли автомобиль для Лили за границей не купишь! А ГПУ, агентами которой состояли О. и Л. Брик, делало вид, что этого не знает. Случись в СССР капиталистическая реставрация, Маяковский и не подумал бы уйти в подполье и писать стихотворные прокламации против буржуев: полагаю, он поступил бы так же, как в 1910 году — то есть снова бы “прервал партийную работу” и принялся сочинять свои “антиевангелия” (если, конечно, белые не шлёпнули бы его сразу за поэтизацию расстрелов). А Брики преспокойно вернулись бы к буржуазной жизни, потребовав возвращения конфискованных у их родителей средств и недвижимости. Увы, увы — не только Брики, но и Маяковский со своим безусловным талантом принадлежали не к лучшей породе людей, представителей которой мы в жизни сторонимся и стараемся не подавать им руки. В сущности, Маяковский был Шариковым советской литературы, а Брики — коллективным Швондером. Те, кто возмутится моими словами о Маяковском, плохо его читали. Он не только в 1915 году “притворился чертёжником”, чтобы не идти на германскую войну, он и в 1918 году вёл себя точно так же: “Отчего не в партии? Коммунисты работали на фронтах. В искусстве и просвещении пока соглашатели. Меня послали б ловить рыбу в Астрахань” (“Я сам”). То есть Маяковский к пребыванию на любых фронтах и даже в тылу фронтов относился примерно так же, как Шариков: “На учёт возьмусь, а воевать — шиш с маслом”.

Видимо, отсидев в юности 8 месяцев в тюрьме (хотя в автобиографии он почему-то утверждал, что 11), Маяковский пришёл к выводу, что нет такой идеи, за которую можно было бы сидеть в тюрьме или воевать. Писать — пожалуйста. А вот Абрам Моисеевич Краснощёк всё-таки был другим. Оставив налаженную жизнь в Америке, он на Дальнем Востоке не только кабинетной политикой занимался, а работал в реальном подполье, ходил партизанскими тропами, срывал голос на митингах. Маяковский в своей жизни не видел ни одного настоящего белогвардейца, а Краснощёков не просто видел — белые его чуть не расстреляли в Благовещенске, однако он почему-то не злобствовал на них так, как Маяковский в “Окнах РОСТА”. Напротив, пытался, причём безуспешно, найти “третий”, мирный путь из той кровавой мясорубки, в которой Россия оказалась. Да и в “Промбанке” Краснощёков не только прожигал казённые средства. Будучи среди отцов-основателей “Общества друзей воздушного флота” и председателем правления первой отечественной авиакомпании “Добролёт”, Краснощёков в 1923 году добился того, что один из “юнкерсов” “Добролёта” получил название “Промбанк” и выполнил первый в истории страны регулярный пассажирский рейс. Газеты тогда писали: “В 11 час. аэроплан “Добролёта” “Промбанк”, рассекая тучи могучими крыльями, спустился в Нижнем, покрыв расстояние из Москвы в 450 километров в 2 ч. 45 мин. и открыв этим рейсом 1-ю советскую воздушную линию”. Сам же Краснощёков, участвовавший в этом полёте, рад был не только удачной рекламе “Промбанка”, но и движению “Добролёта” на Восток: “И в прошлом году были попытки установить воздушные сообщения между Москвой и Нижним. Они носили спорадический характер, причём делали их немцы. Мы можем и должны поздравить с определённой победой и на этом фронте. Регулярные рейсы организует теперь общество “Добролёт” — силами, энергией и самопожертвованием рабочих и крестьян. И этот факт, что наша машина пришла в Нижний в самый день открытия ярмарки, — это символ, воплощающий в жизнь наше движение на Восток. Из Нижнего мы должны развить движение по Волге, на Каспий, в Среднюю Азию, на Дальний Восток, установить воздушную магистраль на Владивосток”.

Краснощёков отбывал срок в Лефортовской тюрьме. В ноябре 1924 года он заболел, и его перевели в тюремную больницу. По окончании лечения, в январе 1925 года, он был выпущен на свободу по амнистии. Сталин его простил и в 1926 году дал экзотическую должность с русским народным названием — начальник Главного управления новых лубяных культур наркомата земледелия

СССР. Оно, кто не знает, осуществляло заготовку волокнистых льновых трав для текстильной и канатно-верёвочной промышленности. Кстати, “сермяжное” название главка не должно вводить в заблуждение, что он ведал традиционным нашим промыслом. Это верно лишь применительно к верёвкам и канатам, а вот лубяное сырьё (джут) для текстильной промышленности до Краснощёкова, как ни странно, ввозили из-за границы. Так что он сидел в своём главке не для “галочки” – старался оправдать сталинское доверие.

Полагаю, что для Маяковского было бы великим счастьем, если бы Краснощёкова не посадили, и он бы увёл всё-таки “Чёрную Лилию” из жизни поэта. Не исключаю, что это было бы великим несчастьем для Краснощёкова. Но этого не произошло и получилось хуже только для Маяковского (если не считать краха карьеры у соперника). Арест Краснощёкова вовсе не означал автоматического исчезновения его из жизни Лили. Здесь Маяковского ждал самый, пожалуй, неприятный сюрприз: оказалось, Лили не просто была любовницей “красного банкира”, она его ещё и любила. По-своему, конечно, по-бриковски, что не исключало других влюблённостей или даже простых соитий с первым понравившимся партнёром, но любила. 19 ноября 1924 года, то есть уже после вынесения приговора Краснощёкову, она писала Маяковскому за границу: “Что делать? Не могу бросить А. М., пока он в тюрьме. Стыдно! Так стыдно, как никогда в жизни. Поставь себя на моё место. Не могу. Умереть – легче”. Поскольку именно в ноябре Краснощёкова перевели в тюремную больницу, есть все основания предполагать, что сделано это было не без хлопот Лили у чекистов. Дочь Краснощёкова Луэлла в 1924–1925 годах жила у Бриков и Маяковского, Лили называла её “доченькой”. После амнистирования Краснощёкова его связь с Лилей возобновилась и продолжалась с перерывами аж до 1927 года, пока Абрам Моисеевич, видимо, не понял, что из-за этой Лили он может не удержаться и на должности начальника главка. Он порвал с Лилей и женился на гражданке Д. Я. Груз.

Краснощёков пережил Маяковского, но 16 июля 1937 года был снова арестован – уже как враг народа. Из своего “лубяного управления” перекочевал он на Лубянку. “Была у зайца избушка лубяная, а у лисы ледяная...” Маяковский обязательно бы скаламбурил по этому поводу. 25 ноября 1937 года Военная коллегия Верховного суда СССР приговорила Краснощёкова к расстрелу. Он был некогда соперником Маяковского за право обладать Лилей Брик, но ни ему, ни Маяковскому близость с “Чёрной Лилей” счастья не принесла.

### Пожалейте его!

Остроумцы 20-х годов вдоволь натешились над поэмой “Про это” и её автором. В романе Ильфа и Петрова “Двенадцать стульев” изображён поэт Ляпис-Трубецкой, который знал “кратчайший путь к оазисам, где брызжут светлые ключи гонорара под широколиственной сенью ведомственных журналов”. Ляпис-Трубецкой написал поэму с длинным и грустным названием “О хлебе, качестве продукции и о любимой”. “Поэма посвящалась загадочной Хине Члек”. В. Шаламов писал в воспоминаниях “Двадцатые годы”: “В герое “Гаврилиады” легко узнавался Маяковский, автор профсоюзной халтуры и поэмы, “посвящённой некой Хине Члек, то есть Лиле Брик”. Намека на “Чёрную Лилию” Ильфу и Петрову показалось мало, и они продолжили “изгаляться”. В Доме народов Ляпис-Трубецкой сообщает: “– Вчера я вернулся ночью домой... – От Хины Члек? – закричали присутствующие в один голос. – Хина!.. С Хиной я сколько времени уже не живу. Возвращался я с диспута *Маяковского* (курсив мой. – А. В.).”

Маяковского и раньше высмеивали, но так, что ему это скорее льстило, нежели обижало (“Так, например, меня просто называли сукиным сыном”), ибо он и его соратники одними из первых в литературе поняли, что отрицательная реклама – тоже реклама. А здесь – уничижительный по своей снисходительности сарказм. Хина Члек... “Волны падали вниз стремительным дождем”... А он душу дьяволу продал, чтобы быть первым в литературе!

Хотя, если говорить о душе, то перелом, произошедший в его творчестве после 1918 года, нельзя объяснить только финансовыми и конъюнктурными соображениями. Он словно увидел бездну – и отошёл от края. Пусть “Кем быть?” – лёгкий объект для пародий, но это более талантливое и нужное про-

изведение, нежели чёрные “Война и мир” и “Человек”. После гибели Есенина князь тьмы помог ему стать Первым, и тьма перестала интересовать Маяковского. Его стихи советского периода безыскусны и пустоваты, но читаешь их без того тяжёлого чувства, что было от дореволюционных. Появились даже элегические нотки:

*Годы — чайки. Вылетят в ряд  
— и в воду — брюшко рыбёшкой пичкать.  
Скрылись чайки. В сущности говоря,  
где птички?  
Я родился, рос, кормили соскою, —  
жил, работал, стал староват...  
Вот и жизнь пройдёт, как прошли  
Азорские острова.*

Юмор Маяковского утратил прежний злобный характер:

*...несётся танец, стонет мотив:  
“Маркита, Маркита, Маркита моя,  
зачем ты, Маркита, не любишь меня...”  
А зачем любить меня Марките?!  
У меня и франков даже нет.*

С лёгкой руки Пастернака считается, что ничего стоящего, кроме вступления в ненаписанную поэму “Во весь голос”, Маяковским за советский период не создано. А как же:

*Всё меньше любитя, всё меньше дерзается,  
и лоб мой время с размаху крушит.  
Приходит страшнейшая из амортизаций —  
амортизаций тела и души”?..*

А в январе 1928 года, посетив в Свердловске место убийства и предполагаемое место захоронения царской семьи, Маяковский написал даже такое:

*Спросите руку твою протяни  
казнить или нет человечьи дни  
не встать мне на повороте  
я сразу вскину две пятерни  
я голосую против  
живые так можно в зверинец их  
промежду гиеной и волком  
и как ни крошечен толк от живых  
от мёртвого меньше толку  
мы повернули истории бег  
старьё навсегда провожайте  
коммунист и человек  
не может быть кровожаден*

Правда, “вскину две пятерни” — не более чем обычный для Маяковского способ мыслить далёкими от реалий гиперболами. Стихи эти так и остались в черновике (о чем говорит отсутствие запятаток и “лесенки”). Вместо них в опубликованном тогда же стихотворении “Император” появился плакатный бессердечный финал в духе “Окон РОСТА”: “Прельщают / многих / короны лучи. / Пожалте, / дворяне и шляхта, / корону / можно / у нас получить, / но только / вместе с шахтой”.

Да и в черновом варианте постановка вопроса “по-маяковски” инфантильна: “казнить или нет человечьи дни”? Понятно, что, если речь идет о казни, то имеется в виду казнь по приговору суда. Но ведь Николая II и его семью никто не судил. Тут злодейское убийство, а Маяковский всё сводит к проблеме применения высшей меры наказания. Но всё же, скажу я вам, это уже прогресс, если вспомнить садистское “Ветер сдирает списки расстрелянных...” или “Пусть из наследников, / из наследниц варево / варится в коронах-котлах!”

Маяковский в статье 1914 года “Два Чехова” не скрывал своего отвращения к “руководящим идеям”: “Не идея рождает слово, а слово рождает идею. И у Чехова вы не найдёте ни одного легкомысленного рассказа, появление которого оправдывается только “нужной” идеей”. И далее: “. . . задача писателя – найти формально тому или иному циклу идей наиболее яркое словесное выражение. . . для писателя нет цели вне определённых законов слова”.

Парадоксально, но в 1926 году, когда Маяковский был официально признанным советским поэтом, печатался в “Комсомольской правде” и “Известиях”, его подлинные взгляды на искусство мало изменились с 1914 года. Знаменитая статья “Как делать стихи?”, в сущности, блестяще развивает мысли, заложенные в “Двух Чеховых”.

“Человек, впервые сформулировавший, что “два и два – четыре” – великий математик, даже если он получил эту истину от складывания двух окурков с двумя окурками. Все дальнейшие люди, хотя бы они складывали неизмеримо большие вещи, например, паровоз с паровозом, – не математики”.

Статья эта имеет какую-то пленительную двойственность. Пафос её прямо противоположен названию. “В поэтической работе есть только несколько правил для начала поэтической работы. И то эти правила – чистая условность. Как в шахматах. Первые ходы почти однообразны. Но уже со следующего хода вы начинаете придумывать атаку. Самый гениальный ход не может быть повторён при данной ситуации в следующей партии – сбивает противника только неожиданность хода.

Совсем как неожиданные рифмы в стихе”.

Тот, кто пишет стихи или когда-нибудь писал, многое может простить Маяковскому за “Как делать стихи?”, ибо мало кто из знаменитых поэтов так не принуждённо рассказывал о муках творчества: “Улавливаемая, но ещё не уловленная за хвост рифма отравляет существование: разговариваешь, не понимая, ешь, не разбирая, и не будешь спать, почти видя летающую перед глазами рифму”.

“Летающая перед глазами рифма!” Набоков не сказал бы лучше!

В сущности, “Как делать стихи?” – это полемически заострённое название, то есть антиназвание. Статья вовсе не о том, что можно *делать* стихи, а не писать. Выводы Маяковского совершенно противоположны тем, что ему порой приписывают: “С лёгкой руки Шенгели у нас стали относиться к поэтической работе как к лёгкому пустяку. . . Я думаю, что даже мои небольшие примеры ставят поэзию в ряд труднейших дел, каковым она и является в действительности”.

Маяковский относится к поэтическому творчеству не как к некоему “деланию”, а как к жизненному процессу. А “социальный заказ”. . . что ж социальный заказ? “Работа начинается задолго до получения, до осознания социального заказа”.

Я считаю, что нет особых оснований сомневаться в искренности Маяковского, когда он писал: “Я себя советским чувствую заводом, вырабатывающим счастье”, – ибо к этому прибавлено откровенное: “Я хочу, чтоб сверхставка спеца получало любовью сердце”. Маяковский не просто стал служить Государству – он ощутил себя частью этого Государства. Для него это было всё равно, что обрести веру. Он перестал корчить из себя антихриста, и образовался идейный вакуум, пустота, которую следовало заполнить. Для него, обождённого адским огнём, путь к истинно духовным ценностям был закрыт. Тогда является надежда, что: “. . .стих трудом громаду лет прорвёт // и явится весомо, грубо, зримо, // как в наши дни вошёл водопровод, // сработанный ещё рабами Рима”.

Советское государство было не какой-нибудь “мистерией-буфф” – оно было реальностью, оно вовлекало в свою орбиту миллионы индифферентных людей, а там, где что-то делают сообща миллионы, там история, там для атеиста – бессмертие. Но странное дело: чем больше он олицетворял себя в стихах с государством, тем пустее становилось вокруг него. Те люди, с которыми он шёл рука об руку по литературному пути, вовсе не любили советское государство, хотя и не говорили ему об этом. Они пришли в революцию не для того, чтобы любить государство, хотя бы в отдалённой форме напоминающее прежнее. Они чаяли быть господами, которых окружают во множестве русские рабы. Их кумирами были Троцкий и Зиновьев, а не Сталин и Киров. Им не могли прийти по сердцу строчки Маяковского:

*Я хочу, чтоб к штыку приравняли перо.  
С чугуном чтоб и с выделкой стали,  
о работе стихов, от Политбюро,  
делал доклады Сталин.*

Тут следует разъяснить, что же такое представлял собой РЕФ (“Революционный фронт искусств”), он же бывший ЛЕФ (“Левый фронт искусств”). Неподготовленному человеку ныне трудно найти существенную разницу в программных установках РЕФа и РАППа. В смысле неприятия “буржуазной культуры” левовцы были даже непримиримее рапповцев. Поскольку РАПП возник в своё время из “Кузницы”, объединения пролетарских поэтов, близких по мировоззрению и формам его выражения к левым футуристам, творческие разногласия (вопросы метода и т. д.) между РАППом и РЕФом не играли особой роли. Так почему же рефовцы не вступали в РАПП, “разбивая” тем самым “единый коммунистический фронт” против “попутчиков”? Есть одно объяснение, на первый взгляд, довольно примитивное, но более убедительного я не знаю. Бенгт Янгфельдт пишет, ссылаясь на воспоминания рефовцев, что они боялись подавать заявления в РАПП из-за неподходящего социального происхождения. Ну, это понятно: Маяковский – сын дворянина, Осик – сын “буржуина” и т. п. Но это лишь часть правды. Л. Авербах и Г. Лелевич, вожди РАППа, тоже имели не-пролетарское происхождение. Дело в том, что ЛЕФ, в отличие от РАППа, был сформирован скорее по этническому, чем по социальному и идеологическому признакам. В руководстве РАППа, как и в руководстве ЛЕФа, преобладали евреи, но вот большинство рядовых рапповцев были всё же русскими, украинцами и белорусами из числа рабочих и крестьян. В РЕФе же мы видим иную картину: там везде, и в руководстве, и в “низах” доминировали евреи непролетарского происхождения. И они, очевидно, не хотели “растворяться” в трёхтысячном РАППе, понимая, что в руководство никого, кроме Маяковского, не возьмут (которого, кстати говоря, туда тоже не взяли).

Надо сказать, что и самому Маяковскому к середине 20-х годов его “ближний круг”, где русских людей практически не было, порядком надоел. Он позволяет себе вольности, которых раньше у него и представить было нельзя. В “Моём открытии Америки” есть сцена, прямо противоположная тому, что написано в “Стихах о советском паспорте” (1929). В ней Маяковский отнюдь не хвастается своей “краснокожей паспортиной” и не предлагает американскому “погранцу” читать и завидовать тому, что он “гражданин Советского Союза”, напротив, из его уст звучит упразднённое в СССР слово “великоросс”.

“Ларедо – граница С.А.С.Ш. Я долго объясняю на ломанейшем (просто осколки) полуфранцузском, полуанглийском языке цели и права своего въезда. Американец слушает, молчит, не понимает и, наконец, обращается по-русски:

– Ты жид?

Я опешил. В дальнейший разговор американец не вступил за неимением других слов. Помучился и через десять минут выпалил:

– Великорось?

– Великоросс, великоросс, – обрадовался я, установив в американце отсутствие погромных настроений”.

Вообще-то в этой ситуации Маяковский как полпред государства, борющегося с антисемитизмом, и как член “семьи”, на две трети состоящей из евреев, должен был выпятить грудь и произнести длинную гневную тираду о недопустимости погромных настроений. Что-то типа:

*Я стремился  
попасть в Ларедо,  
а приехал  
в царский Белосток.*

А он, понимаете ли, опешил и обрадовался, что не жид. Да ещё и написал об этом.

А ведь бывало иначе. Бывало, писал Маяковский в “Биржевые ведомости”, что ошибся, печатаясь в одном сборнике с “распоясавшимся В. Розановым”. Это письмо по сравнению с другими печатными выступлениями Маяковского поражает своим витиевато-вежливым тоном. “М. Г. г. Редактор!” –



обращение для молодого хамоватого Маяковского невыносимое, он вообще предпочитал обходиться без подобных реверансов, когда речь шла о редакции буржуазной газеты. А уж “не откажите в любезности”, “примите уверения в совершеннейшем почтении” — вообще за пределами понимания. Но самое интересное: откуда вдруг такая щепетильность по поводу “охотнорядской гримасы” Розанова? Почему его, призывавшего *окровавленные туши лабазников*, то бишь этих самых охотнорядцев, выше вздымать на фонарных столбах, могли покоробить какие-то ни к чему не обязывающие “гримасы”? “Поэзия будущего — космополитична”, — писал Маяковский за два года до этого (1914) в письме в газету “Новь”, но сам, оказывается, подходит к литературному процессу вовсе не как космополит, ежели предпочитает одни редакторские фамилии другим: “фамилия редактора (Беленсон. — **А. В.**) казалась мне достаточной гарантией”. С каких это пор футуристы, презирающие любые условия “прогннвшего мира”, заговорили о каких-то “гарантиях”? Да полно, Маяковский ли написал это? В указанном выпуске альманаха “Стрелец”, кроме него и Розанова, напечатали свои произведения Кузмин, Сологуб, Хлебников, но никто из них и не подумал написать ничего подобного!

Несколько проясняет ситуацию комментарий Лили Брик: “Взял он (А. Беленсон) у Володи стихи для второго номера. Через некоторое время получаю книжку и читаю антисемитскую статью Розанова рядом с Володиными стихами (это была приснопамятная “Анафема”, посвящённая Лиле. — **А. В.**). Володя пишет письмо в редакцию какой-то газеты, что просит не считать его в числе сотрудников этого альманаха, так как в антисемитском журнальчике работать не желает”.

Вот как оно было в 1916 году! “Антисемитская статья”, “антисемитский журнальчик”, причём возглавляемый евреем! Показались уши Осика! Да не он ли автор письма? Тогда понятен и адресат (“Биржевка”), и “не откажите в любезности”, и “примите уверения”...

О том, что подпись Маяковского под данным письмом продиктована лишь соображениями голого расчёта (книги-то его печатает и оплачивает Брик), говорит его циничное поведение при встрече на улице с А. Э. Беленсоном. Тот, как известно, вызвал его на дуэль, а Маяковский, не стесняясь идущей с ним под руку еврейки (Лили), нашёл “отмазку”: “Дворянин не может драться на дуэли с евреем”. Это, кажется, первое и последнее упоминание Маяковским о своем дворянстве.

А в 1925 году он обрадовался, “установив в американце отсутствие погромных настроений”, чего из текста, кстати, вовсе не следует, ибо “погранец” успокоился лишь тогда, когда Маяковский сказал, что он великоросс.

Полагаю, что помимо юдофобии, в семье Бриков также считались “охотнорядскими” разговоры о “жидомасонском” или даже просто масонском заговоре. Маяковский же в “Моём открытии Америки” пишет: “Сто тысяч усаинов в пёстрых восточных костюмах в свой предпраздничный день бродят по улицам Филадельфии. Эта армия ещё сохранила логи и иерархию, по-прежнему объясняется таинственными жестами, манипулированием каким-то пальцем у какой-то жилетной пуговицы рисует при встречах таинственные значки, но на деле в большей части давно стала своеобразным учраспредом крупных торговцев и фабрикантов, назначающим министров и важнейших чиновников страны”. Собственно говоря, это и есть “теория масонского заговора”, когда утверждается, что масонские логи занимаются не только филантропией и таинственными обрядами, а назначают “министров и важнейших чиновников страны”.

Я ни на секунду не сомневаюсь, что, переживи Маяковский тяжёлый для него 1930 год, то он бы активно обратился к державной и даже русской патриотической тематике (минус Православие, разумеется). Ну, во-первых, кое-что значит голос крови: предки поэта, происходившие из запорожских и кубанских казаков, были государевой служилой костью. Во-вторых, вопреки уверениям Маяковского в автобиографии “Я сам”, что он с гимназических времён “возненавидел сразу — всё древнее, всё церковное и всё славянское”, до знакомства с Бриками он не был ни славянофобом, ни русофобом. Так, в статье “Как бы Москве не остаться без художников” (1914) Маяковский писал: “...теперь, когда заинтересовались идеями национального искусства, ведь видят, что Шишкин, например, добросовестнейший немец, рабски подражавший Мюнхену. Далеко ли то время, когда у остальных спросят: “Простите, вы русский?” Тогда придёт переломать в училище гипсы, снести в подвал копии с иностранцев (как это сделали в Мюнхене с Шишкиным) и вернуться к изучению

народного творчества”. И далее: “Хоть теперь, когда граница закрыта, надо откопать живописную душу России, надо вместо лириков, пейзажистов с настроением – оружейных мастеров знания. Молодые! Боритесь за создание новой свободной академии, из которой могли бы диктовать одряхлевшему Западу русскую волю, дерзкую волю Востока!” Это, конечно, написано не членом “семьи” Бриков, а потомком запорожцев. Кстати, после знакомства с О. Бриком Маяковский вплоть до 1926 года теоретические статьи по искусству не писал. Не буду спорить насчёт ненависти Маяковского ко “всему церковному” (о природе её достаточно сказано выше), а вот относительно его ненависти ко “всему славянскому” поспорю. Мы уже установили, что нелюбимое церковнославянское слово “око” он, тем не менее, употреблял наравне со словом “глаз” и вообще в “антиевангельский” период предпочитал современным словам церковнославянизмы. А в “добриковской” статье-манифесте “Война и язык” (1914) Маяковский требовал “сделать язык русским”, причём по общеславянским правилам словообразования. Иностранные слова “авиатор”, “авиационный день” решительно ему не нравились, и он предлагал: “Возьмите глагол “крестить”, от него производное день крещения – “крестины”; в сходном глаголе “летать” день летания, авиационный день, должен называться – “летины”.

В-третьих, даже с точки зрения чистой конъюнктуры сообразительный Маяковский после опубликования в 1934 году тезисов Сталина, Жданова и Кирова для нового учебника истории быстро понял бы, куда в верхах *подул ветер*, и, несомненно, с “западничеством” бы бесповоротно порвал (что и так уже намечается в “Моём открытии Америки”). Несомненно – потому что это сделал даже Савонарола футуризма О. Брик, написавший в 1942 году апологетическую “народную драму” “Иван Грозный” (!). Но Маяковский, в отличие от Брика, развернулся бы к русской державной тематике вполне искренне. Он вообще, несмотря на увлечение авангардизмом, с юности был абсолютным государственным в ницшеанско-прохановском духе, о чём говорит важная фраза в его статье 1914 года “Штатская шрапнель”: “Каждое насилие в истории – шаг к совершенству, шаг к идеальному государству”.

В начале 1930 года Маяковский открыто дал понять кормящимся вокруг него литературным швондерам, что тяготится ими. Он затеял выставку, но не коллективную рефовскую, как это бывало прежде, а персональную, для которой придумал 20-летний юбилей своей литературной деятельности, приходящийся вообще-то на 1932 год. Тем не менее, члены РЕФа по решению Маяковского должны были активно заниматься подготовкой выставки. Он выстраивал новую систему отношений в РЕФе, согласно которой польза каждого члена оценивалась по результатам работы на вождя. Но его *свита* пришла в ЛЕФ, а потом в РЕФ вовсе не для того, чтобы *делать короля*, а для того, чтобы *король делал*, точнее, продвигал *свиту*. Инициатива Маяковского “товарищам по дракам” не понравилась, и они почти открыто саботировали её. Согласно дневнику Лили Брик, оргкомитет выставки, в который, в частности, входил А. Родченко, не собрался ни разу. Маяковскому помогали единицы, остальные отстранились, включая белоручек Бриков. Он был вынужден, как во времена “Окон РОСТА”, сам сколачивать рамы и клеить экспонаты. В итоге к открытию выставка так и осталась недоделанной. Маяковский был вне себя и перестал здороваться с большинством руководителей РЕФа. В день открытия его ждал ещё один удар: Маяковский подозревал, что многие из соратников-саботажников не придут на выставку, но никак не ожидал, что не придут руководители партии и правительства, которых он лично пригласил. Не совсем ясно, почему так случилось, но, думаю, что Сталину и его окружению не без помощи рефовцев-сексотов были известны мечты Маяковского о “воцарении в Кремле”. А такое не прошло.

К тому же, обладая почти безошибочным политическим чутьём (умудрился не влезть ни в один “уклон”, изо дня в день печатая в газетах стихи на политические темы), Маяковский, однако, явно поторопился с выводом, что идеологическое влияние тогдашнего литературного бомонда пошло на убыль. Сталин, победивший Троцкого, Зиновьева и Каменева и одолевающий “правых” – Бухарина, Рыкова и Томского, ещё не создал своей пропагандистской литературной команды. Мне попадались советские издания 1929 года, в которых ещё были ссылки на Троцкого как на марксистский литературный авторитет (а 29-й – год высылки Троцкого!). Особенно убедительно показали Маяковскому, кто командует на литературном фронте, в Ленинграде: на отпечатанных афишах были указаны совершенно другие часы посещения выставки, чем на самом деле, а поправок не последовало. В результате на ленинградской вы-

ставке не было не только высокопоставленных особ, но и рядовых посетитель, которых всё же хватало в Москве. Премьера “Бани” с треском провалилась в ленинградском Народном доме.

Маяковский наносит ответный удар – уходит в РАПП, тем самым фактически упраздняя РЕФ, обречённый без него на безвестность и прозябание. Но этот успех был локальным и временным. Авербах со товарищи не могли не принять Маяковского в РАПП, но это не значит, что с этих пор он стал для них своим. В руководстве РАППа, если не считать крепкого литературного середняка Фадеева, одарённых людей не было (Шолохов в руководство не входил), а тут появляется, хотя и в качестве рядового члена, звезда! Да какая! Парень хваткий, мигом перетянет одеяло на себя! Подозрения стали быстро оправдываться: на конференции Московской ассоциации РАППа Маяковский то и дело лезет на трибуну, выступает с установками... Не иначе, как напрашивается в списки для голосования... И рапповцы, как ещё недавно рефовцы, образовали вокруг Маяковского пустоту. Получилось, как в поговорке: от своих ушёл, а к чужим не прибился.

Парадоксально, но Маяковский, никогда не знавший гонений со стороны советской власти, при первых признаках не то что гонений, а недоброжелательства сильных мира сего, основательно скис.

Обратите внимание: ситуация с травлей пьес Маяковского и отказом в выезде за границу происходит в то же самое время, когда подобные неприятности переживает и всегдашний антагонист Маяковского Булгаков, человек нервный и легко впадающий в меланхолию. Но почитайте, что пишет Булгаков в тогдашнем письме правительству СССР, и стенограмму заседаний МАППа, где выступает Маяковский! Загнанный в угол Булгаков с достоинством заявляет, что писатель, доказывающий, что ему не нужна свобода слова, подобен рыбе, публично уверяющей, что ей не нужна вода, а Маяковский, потрясая кулаками, с героическим видом хрипит (обнаружились ещё проблемы с голосом): “Не нужна! Не нужна!”

На первых представлениях “Дней Турбинных” Маяковский дирижировал клакерами-комсомольцами, и, казалось бы, его самого клакеры смутить не должны. Ан нет! Подобные эпизоды на представлениях собственных пьес или на выступлениях он воспринимает как личную трагедию, тогда как Булгаков почти не обращает на это внимания. Чтó ему клакеры, если он знал, что очередь за билетами на “Турбинных” выстраивается ещё с ночи? А на “Клопа” и “Баню” очередей не было...

Маяковский утратил человеческое и писательское мужество в ситуации, которую, как хорошо видно из нынешнего далека, следовало просто пережить. Но в том-то и парадокс, что её мог пережить кто угодно, только не он.

Литературную карьеру сделал он не ловкостью пера – он изодрал в клочья свою душу, пытая себя на дыбе сатанинской гордыни. Он алкал любви столь же неистовой, как и ненависть его к Богу, отнимающему, как он полагал, у него эту любовь, орал о ней до хрипоты на всех перекрёстках. Вместо любви получил срамную, как он говаривал, “любовишку”, вместо венка первого поэта России – членский билет РАППа...

Ближе к четвёртому десятку он захотел настоящей, человеческой любви, а первенствовать в литературе желал уже не как *потрясатель основ*, а как класик новейшей эпохи. Но “банда поэтических рвачей и выжиг” захохотала и радостно плюнула в лицо ему, “бесценных слов транжиру и моту”. “Нате!” – он утёрся и – застрелился. Силёнок у него, чтобы снова выходить с ножом на Бога, больше не осталось, а утвердиться по-другому не получилось. А что же козломордый владыка тьмы, самое имя которого звучало в те годы как писательская фамилия? (Предоставим себе такой список президиума: Авербах, Блюм, Брик, Гольденберг, Левит, Машбиц-Веров, Момус, Уриэл и впишем в него Люцифера – он окажется очень на месте!). Разве сатане не хотелось ещё раз потешиться, глядя как высокорослый дурак Владимир устраивает “карусель на дереве изучения добра и зла”? А, видимо, карусели закончились – подошло время платить.

Отвернувшись от смрадной бездны, Маяковский, как некий идеалист-сенсуалист, посчитал, видимо, что её не существует, коли он её не видит. А его, хихикая, просто отпустили на поводке длиною в чёртову дюжину лет. Он бежал от крупных бесов и оказался среди мелких, гадких, скользких, вонючих. С брезгливой гримасой он рванул было и от них, но – поводок натянулся. Тпру!

Помните его карточные зарюки? Называл он два срока самоубийства: в тридцать пять и сорок лет. Скептикам, коим мои выводы могут показаться ре-

лигиозными бреднями, предлагаю обратить внимание вот на что: Маяковский миновал рубеж в тридцать пять лет и не дожил до сорока. “Точка пули” была поставлена посередине. Воистину дьявольская точность! По справедливости всё сосчитал тов. Люцифер...

“Литературная газета”, рассказывая о похоронах Маяковского, привела такую деталь: “Рядом с гробом на стального цвета платформе – венок из молотков, маховиков и винтов; надпись: “Железному поэту – железный венок”. Вот как аукнулись стихи: “Читайте железные книги!”

В поэме “Человек” Маяковский напороочил себе: “Он здесь застрелился у двери любимой”. Что ж, и это сбылось, только дверь была его собственная, а не Полонской – ну, да какая разница? Дверь в свою жизнь она ему не открыла, вот что главное, а остальное – каверзы лукавого, типичные для нашёптанных им предсказаний.

Спустя много лет покончила с собой и та, чрез кого пришёл соблазн – “Чёрная Лиля”.

В бумагах Маяковского сохранился отрывок из белого автографа поэмы “Человек”, не вошедший в печатный текст. Там есть строки, обращённые к Лиле:

*С тобой пойду  
в трущобы мук  
скитаться вечным жидом.*

По святоотеческим писаниям, души грешников пребывают на том свете в одном месте, но не видят друг друга, как если бы стояли связанными спина к спине. Самоубийцы стоят так вечно, ибо, в отличие от других грешников, не знают прощения. Вот он – семейный портрет за гробом Маяковского и Лили Брик... А вокруг со сведённым судорогой лицом летает Осик с полтинниками на глазах вместо очков.

Если бы Маяковский умер своей смертью, то за него хотя бы можно было молиться. А теперь...

Но как же быть с его стихами? Стоит ли их читать, если написаны они погибшей душой? Ведь зёрна от плевел умеет отделить не каждый... Если бы я мог ответить на этот вопрос... Если бы Маяковский был единственным писателем-самоубийцей... Ключевое слово о самом себе он произнёс, написав в стихотворении “Сергею Есенину”: “Пустота... Летите, в звёзды врезываясь...”

Пустота – вот пароль искусства XX века, бросавшего вызов Богу. Мир, погружённый во зло, является неким духовным вакуумом. До него словно бы дотронулся ледяной палочкой андерсеновский тролль. Внешне вроде бы ничего не изменилось, но мир стал другим. Это уже антимир. То, что вчера в нём было талантом, сегодня – антиталант. Меланхолически шелестящие бумажные книги превращаются в лязгающие, железные. Они необязательно плохо написаны, эти железные книги! Не для того талант покупается, чтобы сразу же превращать его в ледяную пыль. Слишком дорогое удовольствие для покупателя! Пустота не способна из себя произвести ничего, кроме пустоты: следовательно, владыка антимира нуждается в материале, которым можно было бы декорировать пустоту.

Талант не может враз обратиться в свою противоположность. Замерзающая жизнь бьётся в нём, всеми силами сопротивляясь окоченению. Если настоящий, гармоничный талант обычно искушаем злом, то антиталант... – добром. Вот в чём мучительная загадка так называемой светской литературы. Иначе, действительно, девять десятых светских книг стоило бы разом “взять и сжечь”.

Маяковский угадал: его стихи не превратятся в пыль, если он, как Сизиф, будет катить в гору камень своих грехов: “Мой стих трудом громаду лет прорвёт...” Этот камень срывается с вершины горы, с адским грохотом катится вниз, но новый читатель открывает железную книгу, и всё повторяется: под палящими лучами нездешнего солнца не отбрасывающий тени Маяковский начинает толкать в гору свой камень...

Но что-то мне подсказывает, что камень Маяковского становится ещё тяжелее, когда кто-то из живущих испытывает восторг, читая и перечитывая его железные книги.